

Я, Дембо Майя Герасимовна, родилась в Париже в 1931 году, 26 мая.

Мой дед по отцу, Исаак Дембо, рижанин, умер тогда, когда моему отцу было 14 лет, поэтому я о своём дедушке почти ничего не знаю. О бабушке знаю больше. Бабушка, Сара Лазаревна, урождённая Бёк, по мужу Дембо. У них было трое детей. Старший сын Арон Исаакович, потом мой отец Герасим Исаакович и моя тётушка Цисилия Исааковна. Они все получили высшее образование, бабушка по этому поводу очень старалась. Они все учились в Европе. Все они родились в Риге.

Дядюшка окончил химический факультет Берлинского университета, отец – факультет прикладной механики Сорбонны, Нанси, Франция, а тётя училась в Тартовском университете на медицинском факультете, а совершенствовалась в Праге у Воячека. Она была в Италии, во Франции в Париже, очень много путешествовала. Судьба её достаточно трагична, потому что она, когда ей было 9 лет, попала под трамвай в Риге и лишилась ноги, у неё был всегда протез. Это наложило определённый отпечаток на всю её жизнь. Она была очень хорошим врачом, отоларинголог, она лечила, так как она жила в Риге даже после войны, она вернулась в Ригу и продолжала лечить. Она продолжала жить в Риге со своей мамой, моей бабушкой, и лечила оперных певцов, их связки, и была очень дружна с Александровичем. Была знакома с академиком Тарле, так что моя тётушка была незаурядным человеком.

Они все в Риге кончали классическую гимназию, по-моему так же, как и отец, потому что папа знал немножко греческий, немножко латынь, как и положено, родным языком для них для всех был немецкий, потому что культура Латвии и столицы Латвии Риги, там немецкое влияние ощущалось очень сильно. Но они знали ещё латышский, тётушка знала его в совершенстве, папа хуже, а дядюшка совсем не знал, только кое-как. Русский они знали все и великолепно говорили по-русски. Мало того, мой отец почти всю жизнь работал на ЛВЗ в Ленинграде, русский язык специально не учил, просто овладел им сам, они все, кроме тётушки, тётушка говорила без акцента, а мой отец и дядя говорили по-русски с лёгким немецким акцентом.

Моя бабушка, Сара Лазаревна, была домохозяйкой. Она в результате всех перипетий и событий, произошедших в Европе, осталась с младшей дочерью в Риге, сыновья оказались в Петрограде, и связь между ними была совершенно прервана. Но, постольку поскольку моя бабушка была из достаточно богатой семьи, её брат держал меховую фабрику в Риге, которая называлась «Электра», эта фабрика научилась одна из первых фабрик в Европе, вырабатывать **мздру**

мутон, чтобы была гибкая мягкая основа, овчина. Они на этом деле преуспевали. Ещё у них была молочная ферма около Риги в Саукрасте, и они жили достаточно безбедно.

Но, когда в 1940 году туда пришла Красная армия и Латвию присоединили к России, мы, мой отец, моя мать и я, должны были в августе 1941 года из Ленинграда поехать к ним в гости. Но из этого ничего не вышло. Оказалось всё как раз наоборот, они бежали из Риги, бабушка и тётя-инвалид, с маленьким чемоданчиком, в котором был весь тётушкин инструмент и какие-то необходимые пожитки, они бежали с уходящей Красной армией из Риги. Они уехали на последних грузовиках. Они оказались в районе Пскова. Потом они каким-то образом узнали о том, что ЛМЗ, где работал мой отец, эвакуировали на Урал. Это место называлось Верхняя Солда, рядом с Нижним Тагилом. Это места каторжников, сосланных ещё при Петре, и там металлургические заводы Демидова, туда закинули весь цвет турбостроения, ЛМЗ, и там почти все инженеры, умные, образованные люди, умерли от голода, хотя до этого их, и в том числе моего отца, вернули из ополчения, чтобы заняться турбостроением.

Там мои родители умирали тоже от голодного поноса, дизентерии, я была маленьким ребёнком, и, когда мама приходила в себя, она говорила мне, что делать. Поскольку я была послушным ребёнком, я делала всё, что она говорила, потому что никакой медицинской помощи, ничего там не было. Она мне говорила: мой руги, разведи марганцовку, сходи, купи коньяк или водку, попроси у хозяйки творог, и опять отключалась. Я так всё и делала, и они выжили, уцелели. И туда в разгар всего этого кошмара, это было начало 1942 года, родители только встали на ноги, отец уже стал ходить на работу, приехали совершенно завшивленные, замученные, полуживые, моя бабушка и тётушка. И мы стали там жить вместе. Постольку поскольку для них родной язык, это невероятный парадокс, родной язык немецкий, кругом такое творилось, дома они разговаривали между собой по-немецки. И я волею обстоятельств, хотела я того, не хотела, я слышала эту немецкую речь, она у меня не вызывала никаких отрицательных эмоций. Мы жили в отдельном срубе, у наших хозяев было два дома, один дом они отдали «выковырянным жидам», как они называли. «Выковырянным» значит эвакуированным. Поскольку они говорили на немецком только дома, не могло никак ни на кого подействовать. Если меня погружают в немецкоязычную среду, я долго мучаюсь, я потом начинаю что-то говорить и что-то понимать.

Тётушка сразу же стала работать в поликлинике по своей специальности. Мама работала в этой поликлинике в регистратуре, а мама работала на филиале

ЛМЗ, остатки которого там уцелели. В 1943 году, как раз когда происходила Сталинградская битва, по распоряжению Калинина ЛМЗ загрузили в эшелоны, и мы оказались в Подольске под Москвой. И там продолжалась эта работа у отца. Хотя там котельный завод, а не турбинный, но они связаны. Постольку поскольку отец всегда занимался насосами, которые качали на турбины воду, это всё было очень связано.

Мы вернулись по пропускам в Ленинград, а бабушка с тётушкой из Подольска, к тому времени это уже был 1944 год, вернулись в только что освобождённую Ригу. Их дом разбомбило, совершенно ничего не осталось, даже фундамента. Так как они ждали нас в августе 1941 года, когда мы должны были приехать к ним в гости, они заготовили массу всяких прекрасных, роскошных подарков, ну а теперь все были в одинаковом нищенском положении. Брат бабушки, который имел меховую фабрику, Макс Бак, в 1936 или 1937 году, почуяв движение красных на запад, забрал свою семью и перебрался в Стокгольм, в Швецию. Там он жил со своей женой. Кто-то из его детей жил с ним, а один из его сыновей, Натан, оставался в Риге. Он был в трудовой армии, погибал там от тифа и чудом остался жив. Во время войны судьба забросила его в Среднюю Азию. Он был очень крупным специалистом. Он, Натан Максович Бак, кончил Кембридж или Оксфорд и был великолепным инженером. Потом, когда все военные перипетии закончились, он работал в вагоноремонтном заводе в Риге, который делал эти электрички, которые до сих пор у нас катаются. После войны он вернулся. Накануне войны он женился на Юдифь, она была искусствовед.

Во время войны фашисты бросили одного бабушкиного брата, который оставался в Риге, в горящую синагогу. Остальные, все кто мог, успели убежать либо на восток, либо на запад.

Родители познакомились в Петрограде в 1918 году. Маме было 17 лет, она кончила гимназию в Петрограде, а отец со своей матерью и младшей сестрой приехал сюда. Поскольку сестра была больная и была необходимость улучшить её физическое состояние, они все трое приехали сюда. Папа кончал здесь гимназию на улице Восстания, а потом, для того чтобы как-то прожить, пошёл работать на Октябрьскую железную дорогу. Жили они на Греческом, а семья моей мамы жила на четвёртой Советской (четвёртой Рождественской). В это время Арон был в Берлине, учился. Но где-то в это время он тоже сюда приехал. Об Ароне тоже нужно сказать, потому что он был членом одной из первых футбольных команд Петрограда-Ленинграда. Там, где есть история футбола, там есть его фамилия. По-моему он была нападающим. Мне кажется, что он уже к

тому времени вернулся и жил с ними, но это было уже после революции, это был уже примерно 1920 год, когда мои родители как раз поженились, а поженились они в 1920 году.

Родители поженились. Отец продолжал работать на Октябрьской железной дороге, мама продолжала своё обучение, был такой институт «Живого слова», она училась у Давыдова и подавала большие надежды в амплуа ? Островского, хотя ей было 19 лет. Она закончила там три курса. У неё были ярко выраженные артистические способности, она очень хорошо училась, ей это очень всё нравилось.

Отец работал на железной дороге кочегаром, потом, уже помощником машиниста, он между делом поступил в Политехнический институт, и совмещал работу с учёбой. Это было достаточно сложно, и его мать, моя бабушка, встревожилась, тогда ещё связь не была так прервана, и было решено, что он продолжит своё обучение в Париже, потому что в Париже находилась родная сестра моего дедушки, маминого отца, Роза Вульфовна Сивошенская. Было решено, что они вместе с мамой туда поедут. Правительство СССР тогда ещё это разрешало. В 1924 году мои родители уехали из Петрограда, тогда он ещё был Петроградом, потому что они уезжали ещё до смерти Ленина, город ещё не был переименован. Они довольно долго были в Риге, повидались со всеми родственниками, познакомились с невесткой, маминой мамой, а потом, через несколько месяцев, поехали в Париж.

В Париже они жили, даже невероятно сказать, десять лет. Они вернулись в 1934 году, уже со мной. Родили они меня там. От этого я имела массу неприятностей, мои родители тоже. Еврейка, да ещё и родилась в Париже. Я всё время должна была писать, что я не белая эмигрантка. Я говорила: «Я не могу по возрасту быть белой эмигранткой». «Значит родители». Отец каждый раз писал своё отношение, свою биографию, это вообще одиссея.

Еврейских традиций в нашей семье очень мало, как ни странно.

Она бросила свой замечательный институт, она предпочла всё-таки Париж всему остальному, и, наверное, правильно сделали. Папа там работал, мама работала. Мама работала то продавщицей в магазине, то на других работах. Отец работал на заводах фирмы Варгтингтон. Но прослушивал какой-то курс, готовился к экзаменам, сдавал экзамены, потом работает, потом опять слушает курсы, это происходило полосами. Он имеет диплом об окончании Сорбонны. Так они жили 10 лет. Тётя им помогала. Ещё до моего рождения они жили

вместе с маминой тётушкой, потом переехали с одной улицы на другую, потом, когда я была в Париже, я всё это восстановила, когда они в 1934 году уезжали вместе со мной, это был дом фонда Ротшильда. Тётушка работала всю свою жизнь до того, как она погибла в Освенце в 1942 году, она работала в госпитале Ротшильда. Я потом была в этом госпитале Ротшильда, есть мемориальная доска, где погибшие, и она там есть, всё это сохранилось. У тётушки не было семьи, по рассказам, она меня очень любила, я это всё конечно не помню, очень тепло, по многу со мной возилась. Она была очень хорошим доктором. Папина мать, моя бабушка, из Риги, тоже конечно помогала. Когда отец окончил, они собрались и вернулись домой, потому что мама очень тосковала без своей семьи, она очень грустила, она очень любила своих сестёр, своих братьев, своих родителей, и они сюда вернулись. Её семья жила в Петрограде на четвёртой Рождественской.

Когда они вернулись, отец почти сразу стал работать на ЛМЗ. С его знанием языков, потому что он в совершенстве знал немецкий, французский, русский, читал английский текст, никогда не слышала от отца, чтобы он сказал хоть слово по-английски, но он занимался переводами. На ЛМЗ он работал в специальном конструкторском бюро, где проектировали насосы. Он работал до 1960 годов. Потом по распоряжению совнархоза или чьего-то всё их бюро, СКБ, было переведено на завод Экономайзер целиком. Это было всё связано, об этом я знала то отца. На пенсию он ушёл очень поздно. Он работал до 82 лет, но уже не на Экономайзере, а где придётся понемножку. Оказалось так, что мама не смогла собрать документы, она получала никакую пенсию. Она потом была домохозяйкой, но когда они вернулись из Франции, она почти сразу пошла работать в Эрмитаж в отдел графики и занималась переводами надписей листов Офортов с французского на русский, и работала до 1941 года до того самого момента, пока не отозвали отца из ополчения и они не поехали на Урал.

А меня отправили, когда отправляли детей из Ленинграда, я была тем ребёнком, который топал с рюкзачком по Невскому. Нас отправили на Волгу. Родители ещё были в Ленинграде. Это был детсад Эрмитажа, туда добавили ещё детей, получился целый эшелон, и наш детский эшелон попал между военными эшелонами, которые шли на фронт, и это была одна из первых бомбёжек Ленинграда, и нас так бомбило, что в вагоне не было ни одного целого стекла. Мы сидели под скамейками закрыв лицо руками, и когда мы добрались наконец до места назначения, это была Ярославская область, деревня Искра, я запомнила это название, нас разобрали по избам милейшие очаровательные волжане, добрейшие люди, теперь, наверное, и они уже не такие. Они нас умывали и кормили, потому что мы были голодные, хотели есть и пить. Ещё я

очень хорошо помню, как холодным пинцетом, я помню его прикосновения к лицу, вытаскивали мельчайшие осколки стекла. Мы там жили, учились, занимались сельхоз работами. Меня там научили жать, мы что-то собирали, какие-то овощи. Потом, когда пришло распоряжение Калинина вывозить ЛМЗ на Урал, они загрузились в эшелон и мама сошла в районе Бугуруслан. В этом Бугуруслане она узнала, куда попал эшелон Эрмитажа. Она на перекладных добралась до этого места. Постольку поскольку там не хватало взрослых рук, дети все болели дизентерией, постольку поскольку нас накормили огурцами с мёдом, это было очень вкусно, но не для наших желудков. Она там ухаживала за нами, мы там лежали больными и нас лечили как могли всеми доморощенными средствами, потому что никакой медицинской помощи не было и в помине. Потом мы с мамой, распрощавшись с в общем то гостеприимным лагерем, с замечательными жителями этой деревни, поехали с мамой на Урал к отцу.

Мамин брат Володя, Вульф, который после неё, он был на Ленинградском фронте. Брат Иосиф, постольку поскольку он всю жизнь работал на Морфизприборе и занимался навигационными приборами подводного плавания, он оставался в Ленинграде, пережил здесь блокаду, работал здесь на своей основной специальности, вместе с бабушкой и дедушкой.

Мы вернулись вместе с папой в 1944 году, как только сняли блокаду. ЛМЗ снялся с Подольска и уехало, а семьи приехали позже. Мы приехали с мамой в Ленинград в июне 1945 года по пропускам. Я очень хорошо помню Невский, мы ехали на машине, на грузовике, который отапливали колобашками. Я смотрела на пустой, с заколоченными окнами Невский, ни одного человека, где-то всего 3-4 прошли по тротуару, было пусто, он просматривался абсолютно чётко, я помню, мы были уже у штаба, и я смотрела назад, на площадь Восстания. Мы выехали на Дворцовую: пусто, тишина, никого. Все окна ещё заклеены перекрещенной бумагой. Зрелище было страшное. Нева была серая, с барашками. Наш дом, в котором мы жили, на Добролюбова 27, в него было прямое попадание, поэтому, когда отец приехал, он получил комнату в коммунальной квартире в бельэтаже на Добролюбова 23. Это был дот, то есть оттуда стреляли, ему пришлось ломом выколачивать кирпичи из оконных проёмов, делать заново окна. Комната была заставлена мебелью со всего дома, всё это надо было выгрузить. Коммуналка, было 6 квартиросъёмщиков, кухня с дровяной плитой, раковина, в которой сидели огромные жирные крысы, которые отелись за блокаду, крупная, плохо работающая уборная, оборванные провода, висящие обои, потом у нас был пожар, я пришла со школы и гасила этот пожар. Но там уже были люди, постепенно появлялись соседи.

Я пошла в школу, продолжала своё обучение. После Всадды, там на Урале, там мы вообще не учились, мы ходили в школу и дрались с местными жителями, они нас очень били, потому что мы были голодные и слабые, а мы у них воровали из их портфелей молоко, они сытно и вкусно ели, и шанешки, такие пирожки с картошкой, залитые сметаной, выпеченные в русской печи. Мы это у них воровали, а они нас за это били, «выковырянных». Я продолжала здесь учиться. Я не любила нашу школу, это была женская школа, меня всё время таскали в уборную, чтобы я расчёсывала свои кудри, а они от воды у меня ещё больше вились, мне не верили, заставляли выпрямлять, было весело, маму в школу вызывали.

Мама работала тогда на Татарском переулке. Трамвай с Добролюбова поворачивал на этот Татарский переулок и выезжал на мост Строителей. Там и сейчас стоит это здание из красного кирпича, там была туляминная станция. Мама, постольку поскольку она работала на Урале в поликлинике, потом работала в Подольске тоже в поликлинике и занималась особо опасными инфекциями, хотя она не имела медицинского образования, но она научилась, она была очень толковая и у неё это очень хорошо шло, и она пошла работать на туляминную станцию. Туляминная станция это станция по особо опасным инфекциям, это чума, энцефалит, тулярия. У меня даже есть фотография мамы: маска, резиновые перчатки, всё глухо. Я вместе с нею ездила на обследование Карельского перешейка, потому что там была страшная вспышка энцефалита. Нам всем сделали уколы против энцефалита, и мы туда поехали. Они разрабатывали сыворотку, они изучали повадки насекомых – носителей этих очень заразных тяжёлых заболеваний, они отлавливали ондатр. Тулярия это прежде всего заболевание желёз, сродни чуме, страшное заболевание. Сейчас опять вспышка энцефалита, и я вспоминаю, как мы там с этими клещами... .

Ездили на Карельский перешеек. Там всё было запущено, кругом колючая проволока, снаряды, гильзы, чёрт знает что. Это был 1946-1947 год. И я помню, как мы ходили с мальчишками, притащили какую-то железную штуковину, стали её колотить. А туда, на Карельский перешеек, почему-то были переброшены жители Ярославской области, там или был голод, или что-то ещё, и опять эти замечательные волжане. И какой-то мужчина, он был в форме без погон, демобилизованный, он, когда это увидел, так на нас орал, потому что это могло запросто взорваться. Мы тогда ещё безобразничали, дураки, ничего не понимали. Мы жили там в деревянных домиках. Мама работала. Она брала меня, потому что у меня был жуткий авитаминоз, страшнейший фурункулёз, и мне

обязательно нужен был свежий воздух, черника, малина, эти ягоды, которых там полно. Но ходить по лесу было опасно.

Антисемитизм это отдельная история. Я почувствовала антисемитизм в Верхней Солде. «Выковырянные жида», я пришла, спросила что такое жида, мне объяснили, я всё в силу своих лет поняла, и в общем, когда я приехала сюда, какие-то такие моменты проступали: в школе, на улице. В Верхней Солде были ещё евреи, так относились ко всем без разбора, может быть это даже были и русские, но всё равно «выковырянные» и всё равно «жида». Я не помню, чтобы у меня были друзья, потому что было как-то не до друзей. Всё было очень напряжённо, шла настоящая борьба за существование. Я помню, что в Солде мы с отцом ездили, то, что он был в детстве не молочной ферме и умел обращаться с лошадьми очень помогло, мы ездили с ним в лес за дровами, вдвоём валили лес. Я стояла почти по грудь в снегу, 50 градусов мороз. Но там очень хороший сухой климат несмотря на такой мороз. В детстве я всегда была подвержена всяким бесконечным ангинам, после этого они у меня прошли навсегда. Мы валили лес, пилили сухостой, это мы делали для себя, чтобы топить эту огромную избу, потому что было очень холодно. Топили в русской печи.

Когда мы вернулись сюда, поселились на нашем дорогом Добролюбова, я, естественно, пошла в школу, естественно, бегала там во дворе играла, естественно слышала «жидовская морда», но относилась к этому так: что поделывать? Я не могу сказать, чтобы в школе меня притесняли. Вот тогда, когда я кончила школу и поступала в институт, это был 1951 год, из-за всех этих переездов я потеряла почти полтора года и поступала в 1951 году, я хотела поступить в университет на филологический факультет, но отец и мама сказали мне, чтобы я даже не подавала туда заявление, не тратила зря нервы и время, не надо. В университет евреев совершенно в открытую не брали. Там училась моя подруга, с которой мы жили вместе в нашей коммуналке, она была двумя годами, старше меня, русская, она тоже мне сказала, она потом в 1951 году покончила с собой. Она училась в университете на юридическом факультете, она уже была на третьем курсе, и сказала мне: «Майя, тебе не поступить». Её отец был звукоинженером на Ленфильме, это была очень милая, хорошая семья, они тоже абсолютно всё понимали, но никто ничего не мог сделать.

Я подала документы в Ленинградский государственный библиотечный институт. Сдала всё на пятёрки, у меня была только одна четвёрка. Приёмная комиссия попросила, чтобы я опять представила выписку из биографии родителей, выписку из биографии отца. Почему Париж? Белые эмигранты, не белые эмигранты? Как это вообще, что это такое? Я с трудом попала в институт,

но училась я там хорошо. У нас были очень хорошие преподаватели, особенно у нас была сильна кафедра литературы, потому что там преподавали те преподаватели литературы, и зарубежной, и русской, которых выгнали из университета по той же самой причине. Там были евреи, там были и космополиты, которых ещё не засадили в Гулаг, там были разные люди, не только евреи.

После окончания я поехала работать в Кировск, в Апатиты. Меня распределили, это был такой порядок: приезжих оставляли в Ленинграде, а ленинградцев отправляли к чёрту на куличики. Я работала в Кировске в библиотеке, а практика, когда я училась на 3-4 курсе, у меня была в Мурманске, и я очень благодарна судьбе, что я знаю этот удивительный край, Кольский полуостров. Я была в Мурманске, в Коле, была на самой границе с Норвегией, ездила на собачьей упряжке в одну библиотеку, в другую библиотеку, проверяла, смотрела, это было очень интересно. Поскольку Кировск, Апатиты, это был Гулаг, там были бараки, меня даже по комсомольской нагрузке отправляли чего-то там рассказывать заключённым. Там были разные заключённые, не только политический, я только знаю, что их было очень много. Они работали на руднике и на обогатительной фабрике, обогащали там руду. Я жила в бараке, зимой там наметало сугробы. И даже не давали никакого намёка на то, чтобы хоть как-то... я там болела, потому что была сильнейшая аллергия на апатит и, видимо, ещё на недостаток кислорода в воздухе, там не хватало кислорода довольно много. Это такая аномалия, это не высокогорное место. Между прочем, в Карелии тоже есть такие места, Кастомукша, там тоже такая же аномалия, там не хватает кислорода в воздухе. Я начала писать заявления, чтобы меня вернули домой в Ленинград. А на все праздники: майские, новый год, ноябрьские праздники, я рвалась конечно сюда, ездила туда-сюда на полярной стреле. В библиотеке ко мне очень хорошо относились мои взрослые сослуживцы, видели такая мамина дочка, девчонка.

Я там попала в передрагу довольно серьёзную, опасную. Там страшные бураны, а жила я не в самом Кировске, а на двадцать пятом километре от Кировска, там рудники, там непосредственно идёт добыча апатита. Его по рельсам, по железной дороге, такой узкоколейке, гнали в Кировск, где находилась обогатительная фабрика. Я жила там у мамы своей подруги Наташи, которой уже к тому времени не было. Это была русская семья. Наши родители очень дружили, и меня очень любили Наташины родители, и я просто жила у неё. Я ездила на автобусе, это недалеко. Когда случился буран, никого не было дома, Наташина мама, Александра Нестеровна Лупенина, была в профилактории, она доктор, она там работала. Она была очень хорошим

терапевтом, она боролась там с моей аллергией. Мне там кололи хлористый кальций, мучались со мной.

Я была одна. Законопослушная выпускница института, надо идти на работу: встала, собралась и пошла. А на улице творилось что-то страшное, страшный буран, не видно ни зги, ни столбов, ничего. Снегу намело страшное количество, идти можно было только боком. У меня была шапка-ушанка, и я вернулась в парадную, завязала платок как врачебную маску, и пошла, шла 25 километров пешком. Никакой транспорт не ходил, снегу было по грудь. Я шла на ощупь от столба до столба. Мне надо было на работу к десяти, я ушла где-то в девять, а когда я пришла в свою библиотеку, уже было совершенно темно, хотя и так было темно, там было и так темно, уже был ноябрь, наступила полярная ночь. Пришла, такой снежный ком, предстала пред очами своих старших коллег. Боже мой, что с ними было! Они на меня кричали, они меня целовали, они мне говорили: «Боже!», всплёскивали руками, распаковали меня, отогревали, дали выпить старки, растёрли меня. Я ночевала у своей директорши, Татьяны Александровны, она была очень милая женщина. Вообще там было очень много ленинградцев. В Кировске было очень много интеллигентной публики, которая, в силу сталинских обстоятельств, не по своей воле, оказались там и сумели остаться людьми и помогать другим, и вообще там была какая-то особая атмосфера. Я больше потом нигде такого не чувствовала. Я там осталась, кончился буран, а в этот день погибло очень много людей, то есть я чудом уцелела. Но это было по дурасти, по молодости.